

ИЗВЕСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ  
ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Том VI

Выпуск VI

Н. Я. МАРР

*Марр*

*язык и письмо*

**ЯЗЫК И ПИСЬМО**

*Ташкент*

Bibliothèque Maison de l'Orient



150686

## ЯЗЫК и ПИСЬМО <sup>1</sup>

«Слово для человека есть такой же реальный условный раздражитель как и все остальные, общие у него с животными, но вместе с тем и такой многообъемлющий, как никакие другие, не илущие в этом отношении ни в какое количественное и качественное сравнение с условными раздражителями животных».

Акад. П. П. Павлов.

911

**В**еликий гончар письма и языка Октябрьский революционный порыв, октябрьское революционное творчество. Союз Советских Социалистических Республик — беспримерный научный творец в области окультурения многочисленных отсталых народов, входящих в его состав, а в связи с этим и беспримерный по эффективности фактор в усовершенствовании старых и созидании новых языков, а в линии использования языков, — и неразрывно связанных с ними письменностей. Вызванный этим фактором сдвиг захватил своим исследовательским интересом все языки населяющих территорию Союза народов и племен. Более того, тот же сдвиг врезался исследовательским резцом своего нового мышления, диалектической логикой, в массовую гущу языкового материала, в живые, казалось бы, цельные национальные языки и выявил в них переплет классовых языков, выявил или выявляет классовую сущность всех и каждого языка, как никогда. И тот же сдвиг породил длинный ряд создателей или усовершенствователей письменностей и исследователей языков, воскрешая ученых мертвецов дуновением новой жизни на непосильный для их мышления подвиг, и подготавливая, вопреки всей тяге обремененных вековой мудростью руководителей по старым кумирам, новые кадры работников для новой неслыханной и невиданной раньше работы над величайшим созданием человечества — письмом-языком, ибо письмо, эта нераздельная с памятных для человечества с языком единая величина, раньше было также языком, как звуковая речь.

Не вина революционного творчества, а вина сменяемого, не смененного еще им научного мировоззрения, что открытая в Москве

<sup>1</sup> Доклад, прочитанный 21 ноября 1929 г. на открытии выставки Новой письменности народов СССР в Коммунистической Академии СССР в Москве.

выставка, Новая письменность народов СССР, наименована была по построению: выставка письменностей, а не выставка письма-языка. Письменность народов Союза до революции и после революции, вот тот участок в истории письма, представить который было первое по очереди задание выставки, устроенной Коммунистической Академией, ее подсекцией материалистической лингвистики. По наметке же для будущего времени это выставка вообще письма. Известно изречение, не лестное для языка: «язык мой — враг мой». Язык мог бы сказать: «Неразлучное дружнице письмо — старший враг мой и злой соперник до наших дней в науке об языке».

Было время, когда письмо и вообще письменность заслоняла язык. Живая речь выходила из орбиты исследовательского внимания, захваченного целиком интересом к письменному языку, да еще в особо высокой степени к тому или иному мертвому литературному языку, по возможности языку «народа» мирового значения или хотя бы к попавшему, как пятая спица в колеснице, в переплет взаимоотношений таких мировых литературных языков. Отдельные крупиночки речи, казавшиеся ее первичными элементами, даже и те назывались не звуками или фонемами, а буквами или по-латыни *littera*. И доселе приходится часто слышать, например, когда дело идет о семитических языках, что в них корни «трехбуквенные», *trilitère* и т. п. Беда, однако, не в этой неувязке технической детали. Она в настоящее время не представляет, если не говорить об ее формальной уродливости, никакой опасности, поскольку, когда даже говорят хотя бы о тех же трехбуквенных корнях, всякий, не исключая и говорящего, предполагается, понимает, во всяком случае способен понять, что дело идет не о буквах или линейных знаках, а о звуках, изображенных с тем или иным линейным начертанием. Гораздо более опасные, прямо таки роковые последствия общего значения имеем для самой науки об языке от подхода к звуковой речи, хотя бы и живой, через письменное ее облачение, ибо таким подходом предопределялся количественно материал. Такой подход был научно санкционирован в отношении не одних только отдельных языковых представителей, а всех их объединений в системы, доселе намеченные в совокупности языков всего человечества, или, говоря термином старого учения об языке, в «семьи» языков, в том числе и прометеидскую систему, говоря опять таки терминами старой лингвистики — «индоевропейскую семью». В результате не только получалось такое несуразное положение, что в области наиболее изучавшейся в научных путях лучше квалифицированными лингвистами, именно специалистами по прометеидским языкам, оформлялась и, угнездившись на отсохших ветвях единственного в мире вечнозеленеющего древа жизни, производства-общественности, сложилась паразитно наука о лингвистической

системе, пусть «семье» (тем хуже), ведающая в первую очередь лишь мертвыми письменными языками, санскритом, так наз. древне-индийским, древне-греческим и древне-латинским. Этого мало; надо было совершить, казалось, целую революцию, чтобы в круг этой курьезной «семьи» мертвых литературных языков ввести литературные языки, т. е. такие литературные языки, которые одновременно окружены своими же живущими еще бесписьменно говорами, наречиями и даже прихваченными будто случайно языками. И когда в результате борьбы за такое положение живых, или, вернее, новых литературных языков произошел действительно некоторый сдвиг в сторону вовлечения живой речи в исследовательскую работу, с чем связано появление в особой отрасли речевой культуры, именно «неофилологии» или «романо-германской филологии», то на деле оказалось, что, во-первых, этот сдвиг произошел собственно в отношении европейских новых литературных языков с их средневековыми также письменными формациями. Сдвиг по существу не изменил общего положения исследовательской работы, именно, сначала письменные языки и их взаимоотношения как нормативы, а затем в порядке лишь уточнения таким путем выработанных теоретических норм — использование «постольку поскольку» и материалов живой устной речи. И затем скандально бесплодная попытка распространить тот же подход ко всем языкам мира, что знаменовало выпадение большинства языков, собственно всех живых языков и наречий из кругозора наиболее, казалось бы, квалифицированных лингвистов.

Старая лингвистическая теория, таким образом, отпала не только от материальной базы такой части надстроечного мира, как речевая культура, но она оказалась с построением на руках, не учитывающим, не способным учесть нормы живой речи и тогда, когда она могла располагать и даже располагала ее материалами, т. е. материалами научно беспризорных языков. Однако, языки эти не оказались беспризорными. Прежде всего добрая часть их не могла не иметь о себе попечения, поскольку на ней оказывались говорящими вновь сложившиеся национальности, но лингвистика наименее податлива для национального ее построения, не говоря о том, что новые национальности, скроенные общественно по нормам существовавших ранее национальных образований, как сродных экономических формаций, способны были породить учения, сродные со старой лингвистикой, почему они безоговорочно воспринимали ее теорию, часто лишь с усилением дефектов ее построения и даже с искажением ее правильных утверждений. Тут не получалось условий для противоречий и, следовательно, для борьбы, с разрешением которой наука получила бы действительный сдвиг.

Больше надежды в этом отношении можно было возлагать, казалось бы, на диалекты той или иной господствующей классовой речи,

и обычно письменной, по непосредственной близости к прочно установленной исследовательской работе над ней, но при создавшихся условиях диалектология, разрозненно разрабатываемая по районам распространения классово господствующих так наз. национальных языков, с замыканием теоретических исканий по наречиям и говорам в пределах господства каждого национального языка, воспринимаемого как самодовлеющий цельный массив с отрывом от экономических уязок различных районов и производственно-социальных предпосылок собственного района, не могла выработаться в самостоятельное учение, а в путях старого учения она в лучшем случае вносила в основе неверное построение лишь поправки, не представляющие интереса для нашего настоящего учета в корне реконструирующих сдвигов.

Больше простора для независимого исследовательского творчества представляли необъятные по количеству и разнообразию языки без письменности, «безграмотные» массовые языки всех стран света, в буквальном смысле слова оставшиеся вне квалифицированного научного призора. Их изучали и можно было изучать лишь на слух и на месте, невольно в окружении и в общем с более глубоким учетом материальной, социальной и бытовой среды; их изучали заинтересованные корыстью в судьбах говорящих на них народов или члены различных религиозных организаций, миссионеры, колонизаторы, администраторы, вообще служащие и люди так наз. свободных профессий, но не со свободной идеологиею, со включением искателей приключений и путешественников, или политические ссыльные, нередко каторжане, все одинаково вольные или невольные наблюдатели поражающих европейцев своей экзотичностью племен чаще, чем народов, они же невольные скорее так наз. этнологи, чем лингвисты. Естественно, массово накопившиеся материалы послужили базой для возникновения такой в буржуазных условиях единственно возможной социологической науки, как этнология. Язык здесь являлся в неразрывной увязке и с хозяйственным производством и с социальным строем. Этнологическая или так наз. «палео-этнологическая лингвистика» настолько развилась и окрепла, что вышла на самостоятельный путь своего выявления, разорвав с отрешенным от жизни учением об языке, с шорами которого этнологи и начинали часто исследовать лингвистическую часть своей работы. Самостоятельного учения об языке этнологи также не создали, но ими была тронута девственность замкнутых в своей изоляции отдельных так наз. семей языков, были сделаны просеки, взломавшие смелыми фактически оправдывавшимися сближениями научно углублявшимся между ними перегородки; достаточно сослаться на прослеживания в мировом масштабе таких общих черт в языках всего мира, независимо от их принадлежности к родственным или неродственным «семьям», как распространение сродных

начальных и конечных гласных, двойственного и тройственного числа, равно числительных, а также различных положений родительного падежа и т. д.

Прошу обратить внимание, что в нашем суммарном изложении необходимого нам сейчас отрезка из истории изучения отдельных языков и их групп, тоже ведь, трудно отрицать, невзъемлемой и из общего учения об языке, ни словом, ни даже намеком я не коснулся оценки политической или общественной стороны такой установки исследовательского дела, ибо нам пришлось бы указать, что бесписьменные языки, совсем незучавшиеся и поставленные в лучшем случае на второй план, это или заморские колониальные языки или внутренние нацменовские языки или живые так наз. диалекты матери-речи, именно литературного языка; последние же если не дериваты, то вначале, предполагалось, сродные части, казалось, собственного национального литературного языка, на самом деле по своему актуальному основному складу эти диалекты, раньше самостоятельные языки, значительно позднее успели вполне сойтись каждый с господствующим над ним литературным языком или плохо сошлись с ним, будучи независимыми по происхождению присущей им идеологической и формальной структуры языками другого или других классов и обычно загнанные в обиход крестьянско-рабочих социальных слоев, и такое, следовательно, «выпадение большинства языков всего мира из кругозора наиболее, казалось бы, квалифицированных языковедов» отнюдь не случайность, а неизбежное последствие классового подбора исследовательского материала, с целевой установкой изучить прежде всего классовый, свой феодальный, свой буржуазный, или свой мелкобуржуазный (бывает и такая модальность) так наз. национальный язык будто всего народа. Равнодушные той или иной теории к этим классовым моментам при сознательном к ним подходе заставило бы ввязаться в генезис такого положения вещей с весьма неприятными организационными выводами, между тем нам сейчас вполне достаточно трактовать сюжет в рамках отвлеченной академически-научной оценки, достаточно было бы для выявления степени состоятельности того или иного учения сослаться хотя бы на подытоживающие его достижения продукции.

Старое, наиболее разработанное исключительно на языковых фактах теоретическое учение, индоевропеистика, и она же наиболее отрешенная от жизни, без увязки не только с материальной базой, со всякой ее надстроечной категорией, но и со смежными по предмету исследования науками в наш век разрешилась трудом, свидетельствующим своим названием о бессилии представить речевую культуру человечества в какой-либо мере организованно-классифицированной. Труд так и называется «Языки мира» («Les langues du monde») и больше ничего,

без малейшего намека не только на определяющие их системы, но и на принадлежность их к той или иной так наз. семье.

Молодая же этнологическая лингвистика осознала потребность в классификации всех без различия языков мира как частей различных типологических групп, как то мы видим в труде полиглота Schmidt'a — *Die Sprachfamilien und Sprachkreise der Erde* 'Семьи языков и языковые круги мира', но эта работа исходит в основе своего языковедного построения все из того же фактически формального метода индоевропеистики, она же ярко идеалистична, достаточно для этого прочесть вступительные строки названной книги, определяющие язык как «внутреннейшее порождение человеческого духа и потому способное дать лучшее свидетельское показание о подлинной природе души», и лишь материалу иного порядка, да работе над ним в других условиях, эта «палеоэтнологическая» лингвистика обязана надбавочной своей частью, но эта часть, качественно более высокая, представляющая распространение колониальных языков сродными «кругами» в их статическом состоянии, при отсутствии палеонтологической проработки, чисто механически присоединяется к признаваемым и индоевропеистикой «семьям» языков, без малейшей попытки тревожить их, без учета творческой динамики. Собственно все осталось на месте в силу того факта, что господствующее теоретическое учение об языке оставалось и остается неизменно тем же на письменно-язычных данных возведенным построением. Звуковая речь, оттесненная письмом в тень, точно заслоном, была обеспложена как творческий материал с его массовостью, с его многообразной техникой и с его богатейшей гаммой идеологических смен в самой структуре в зависимости от стадий, революционных сдвигов, в развитии производства и производственных отношений. В письмо и в его мертвые традиции был заточен живой, общественно-исторически скроенный организм, многосложно увязанный со всеми нервами повседневной жизни, ее питающим производством и регулирующей общественностью на всем протяжении активного существования человечества, с перспективами не только на развитие вместе с материально и технически прогрессирующей жизнью, но и на перевоплощение вместе с нею, да с богатейшим накоплением таких же связей с забытыми всеми, кроме как языком, первыми этапами коллективного людского творчества, вне которого не было человека, и неизбежный современник которого наличен перевоплощенно в нашем нынешнем орудии общения, нашей звуковой речи. Все это было просмотрено, и в кругу специалистов если была работа по вопросу то она терялась в бесплодных поисках увязать наш язык, как природный, непосредственно с языком природы, с языком животных, или проработать его в технической части звуков формально-физиологически также в увязке с природой.

И, естественно, если при таких провалах руководящей по части языка научной мысли из области языковедного исследования совершенно выпадал ручной язык, язык кинетический или линейный, язык линейных символов и линейных образов, не только предшествовавший нашей звуковой речи, но и долгие тысячелетия сожительствовавший с ней, и пережиточно доселе существующий на громадных участках стратификации звукового языка.

В результате не только звуковая речь, но и письмо, освобожденные от позднейшего, отнюдь не изначального сожительства с нею, предстали в совершенно иных взаимоотношениях в громадной важности вопросе об языке. Но что такое язык? Трудно дать определение, ибо, будучи созданием изменчивой материальной базы, производства, и с нею неразлучного или к ней ближайше примыкающего надстроечного фактора, социальной структуры, язык также есть историческая ценность, т. е. изменчивая категория, и без допущения чудовищного анахронизма нельзя дать его единого определения ни идеологического, ни технического. Без содрагания нельзя слушать, когда без учета палеонтологии речи обсуждается какой бы то ни было мелкий вопрос по языку генетического порядка.

Функция языка менялась, изменялось обслуживаемое языком пространство, менялся объем охвата внутреннего порядка — количество нареченных предметов, изменилось орудие речевого производства, изменился его процесс и т. д.

«А как же в таком случае остаются несменно так наз. звуковые законы, именно социальные звуковые законы — корреспонденции?» могут сказать мне. А кто же говорит об их неизменчивости? Во всяком случае не яфетидологи.

Установленная индоевропейцами система так наз. фонетических законов прометейдских (индоевропейских) языков, в их реальной части, ведь вовсе не является простой репродукцией звуковых законов яфетической системы, в них, так наз. индоевропейских языках, языках прометейдских, налицо коренная перестройка прежней системы, яфетические звуковые корреспонденции в них прослеживаются лишь как переживания изжитой системы.

А яфетические языки? Разве они все выявляют ту систему фонетических законов, которые постоянно приводятся при яфетидологическом анализе как ориентирующее средство и в изучении языков других систем, хамитической, семитической, прометейдской, урало-алтайской, в частности групп угрофинской, турецкой и т. д.? Разумеется, нет. Как актуальная форма та система фонетических законов свойственна лишь сибилантной ветви языков яфетической системы, а до выделения спирантной и сибилантной ветвей была, как то уже наметилось, еще одна

система с диффузным состоянием звуков. По наступлении же изолированного их учета, когда, следовательно, изменения отдельных звуков в языке получили идеологическую значимость во всех отношениях, и в словотворчестве, и в образовании морфологических типов, да когда в связи с этим, опять таки они стали разъясняться не отрешенно от материальной базы, производства, а (наоборот) в зависимости от него и его качественного видоизменения, в первую очередь — развития техники, то одновременно с умножением возможностей дифференциации в зависимости от изменений отдельных звуков и их уже механически слагаемых комбинаций бесконечно многочисленных, стали отмирать сложные звуки, потребность в которых, как в дифференцирующих средствах, отпадала. Спирантная же ветвь и не дошла вовсе до выработки и такой системы, какая присуща сибилантной ветви, а до выделения звуков спирантного порядка рядом с сибилантными, использованными в определенной системе, были звуки с диффузным состоянием. О фонетических нормах той эпохи не приходится пускаться в беспочвенные гипотезы, ибо намечается научно обоснуемое построение по переживаниям в наличных языках, но факт, что и там была иная система.

Эти смены систем при их учете и являются гарантией закономерной сохранности слов от различных ступеней стадийного развития и правомочности исследователей языка не только сравнивать языки, за пределами позднее образовавшихся систем, но и распознавать их по принадлежности к различным стадиям. Но и этот ряд сменявшихся друг друга систем не являлся бы достаточной гарантией для правильного и уверенного в реальности учета фонетических фактов при системе изолированных изменений звуков, если бы мы не располагали средством идеологического обоснования действительной сохранности в них пережитков архаичных, более того первичных уже не звуков, простых или сложных, а целых слов, именно так называемых лингвистических элементов, лингвистических элементов возникших в труд-магическом процессе. Эти лингвистические элементы, использованные как бы символы с функцией сигнализации предметов, лишь впоследствии по размножении их членораздельных разновидностей собственно слова, первично же функциональные хоровые звучания единого коллективного труда, числом четыре, вызывающие столько сомнения незнакомых с фактическим положением дела диалектического порядка, теоретически являются постулатом при решении и возникшей ныне жестокой полемики вокруг вопроса о неуверенности закономерной сохранности какого либо подобия первичных звуков в наличной фонетике языков, раскинувшихся по всему миру, чтобы в них находить обоснование для лингвистических увязок современных бесписьменных языков Африки, например Vantu, с таким древнейшим письменным языком, как шумерский. Инсбрукский языковед Drexel,

убежденный сторонник сравнительной работы над языком за пределами замкнутых кругов, старается выкладками как бы теории вероятности обосновать консервативность звуковой речи; при такой трактовке фактически бесспорная консервативность представляется мистической. Между тем в таком обосновании нет никакой надобности. Нужная консервативность гарантирована не только рядом сменявших друг друга фонетических систем со значимостью изолированных звуков, но и системой комплексных звуковых изменений четырех элементов, т. е. целых слов, дающих основание не только для безошибочных сближений современных живых языков с древнейшими письменными, но, более того, для увязки языковых фактов с явлениями производственно-общественного порядка древнейших, а при учете предшествовавшего звуковому ручного или кинетического языка, и первичных эпох.

Четыре, если не более смены систем звуковых корреспонденций это столько же зависящих от развития производства и его техники сдвигов общественной структуры, чем позднее, тем сильнее и сложнее выявляющей свое творчество и в области социальных звуковых соотношений. С каждым сдвигом первоначальная замкнутость не только разбивалась от более развитых способов производства, но переходила в новую стадию социального оформления с более широким охватом, чтобы на последующей ступени, все по той же причине и роста, и осложнения производства, передвинуться в социальные образования мирового масштаба и по ним перестроиться. Это наше положение находит поразительное соответствие в следующем пассаже неопубликованных рукописей Маркса и Энгельса о Фейербахе: «чем больше расширяются в ходе . . . . . развития отдельные воздействующие друг на друга круги, чем более уничтожается первобытная замкнутость отдельных народов, благодаря более развитым способам производства, сношениям и вызванному в связи с этим массовому разделению труда между различными народами, тем более история становится всемирной историей»<sup>1</sup>.

Но то, что не меняется, так это сугубо, троекратно социальный характер речи, факт ее создания человеческим коллективом, с определенной целевой установкой, вытекающей из общественно-осознанной потребности, разумеется, общей потребности. Общественная ее функция (общность работы для процесса ее производства, коллективизм и продукция общего назначения), это *conditio sine qua non*, т. е. это «условие (три условия), без чего нет», и, добавлю, не было никакого языка, не мог он ни существовать, ни произойти.

Но ведь коллектив был до возникновения человека, коллективы различных видов животных, также с определенной целевой установкой,

<sup>1</sup> Архив Маркса и Энгельса. Из неопубликованных рукописей Маркса и Энгельса, стр. 223.

планомерной, т. е. вытекающей при учете происходящего также из общественно осознанной необходимости, общей потребности. Следовательно, язык существовал и существует также у животных? Этого, конечно, отрицать никак нельзя, но язык животных не общий, ни с какой стороны, ни с идеологической, ни с технической, он не только представляет достояние каждый особому виду животных, но не отделен от производства, органически нераздельно связанного с их видовой физической структурой, нет здесь момента расхождения, т. е. отхода друг от друга материальной базы и надстроечной категории, нет, следовательно, условий для независимой от природного строения их эволюции, материальная база языков животных — сама природа и только. С этим связан ряд других моментов, образующих в общем пропасть между животным и человеком, не как физическим созданием, но как общественным типом. Мы не можем сейчас останавливаться на всех этих моментах, касающихся особенностей и речевых сигналов или, может быть, также символов, и процесса их производства, и орудия производства, разности их роли при линейной речи и при звуковой, привносящей богатый материал по вопросу. Мы сейчас отметим лишь один, имеющий кардинальное значение языковедный факт. Человечество еще на ранних ступенях развития звуковой речи осознало животных не как физически, а лишь как общественно от себя отличный тип, отнеся их к категории пассивных или эксплуатируемых существ наравне со своей продукцией или с хозяйственно-осознаваемыми предметами природы и отложило этот свой взгляд в специальном классовом определителе, впоследствии ставшим признаком грамматического рода, так наз. среднего рода.

Техника производства и языка требует возможно уточненного определения, достижимого лишь при скрупулезном учете всех моментов и тогда, когда дело касается человеческой речи. Мы знаем, что смена кинетической или линейной речи звуковой знаменует смену орудия производства — какого? Кажется, неправда-ли, руки — языком? Мы не будем останавливать сейчас своего внимания на участии в кинетической речи рядом с рукой в некоторых ее видах и ног, не говоря вообще о телодвижении и такой существенной помощи, которую оказывает и лицо всеми средствами изобразительности — мимикой. Все эти дополнительные средства подлежат своему палеонтологическому учету, ибо, если участие ног и вообще телодвижения представляют переживания более древней стадияльно ступени развития кинетической речи, более того — они могут быть увязаны с языком животных, мимика, наоборот, есть позднейшее достижение, образующее тоже пропасть между языком животных и даже ручным языком человечества. В основе же стабилизовавшийся кинетический или линейный язык есть ручной язык, так наз. язык жестов, и основное его орудие — рука.

Когда речь о кинетическом или линейном языке, как будто иного ответа не может быть, ибо, если бы мы вздумали остановиться на его названии — кинетический или линейный, то это лишь выявление продукции руки, движения (греч. κίνησις) и изобразительности, следовательно, линий, а никак не конкретный какой-либо материал, используемый для речевого производства. Достаточно сказать, что линейность может быть осуществлена не только не материально летучим неустойчивым движением непосредственно 'руки', герр. 'пальцев', но и материально при инструментальной их смене, стиле, резце, кисти, пере, фиксирующими линии красками, что, будь это письмо или живопись, находится также в генетической увязке с речью, заменяя ее идеологическую функцию, или разбивая ее единство.

В порядке, однако, смены языка языком, ручного языка звуковым, происходит значительное осложнение техники. Орудие производства звуковой речи это, казалось бы, уста и, в частности, язык, анатомическая часть. И в этом восприятии термины 'язык', как и 'уста' разъясняются в отношении своего наименования по функциональной семантике переходом названия 'руки' на 'язык' и 'уста'. В русском не существует выражения «устный язык» в значении звуковой речи, «устная речь» по-русски значит 'язык живой' в противоположность мертвой лишь письменной. В быту такой же смысл имеет у французов *oral* — *tradition orale* 'устное предание', т. е. предание живым языком в противоположность мертвому лишь письменному, и лишь в современной научной терминологии *langue orale* вносится в обиход для обозначения звукового языка в противоположность 'ручному' или, как называют французы, 'языку жестов'. Однако, фр. *oral* происходит от лат. *os*, род. *ōs-1 + i-s*, означающего не только 'уста', 'рот', но и 'лицо', и при учете этого факта можно было бы обратиться к построению гипотезы об ином, чреватом последствиями понимании термина *oral*, если бы в ней была надобность. Ибо без всякой гипотезы известен факт из языков яфетической системы, так, напр., грузинского, что животное в отличие от человека называется *rig-i + tkv-i*, буквально переводимый 'не говорящий *rig*'ом'. Но что значит *rig*? Вот тут затруднение: *rig* означает и 'лицо', и 'рот'. По истории же языка возможно иметь определение животного, как существа не говорящего или 'языком' (следовательно, звуковым языком), или 'лицом' (следовательно, линейным языком — мимикой).

Что касается звуковой речи с ее технической реальностью, то точное наименование орудия его производства также не достигается словом 'уста' или 'рот', как и анатомическим термином 'язык'. При уточненном техническом подходе к этому сюжету без углубления в сущность процесса мы в качестве орудия речевого производства ожидали бы прежде

всего 'губы', как непосредственно зримую часть 'рта'; но в терминологии это не изменило бы дела сравнительно с тем, когда орудием речи по наличным наименованиям приходится признать 'уста', 'рот', ибо 'рот' и 'губы' раньше назывались также одним и тем же словом. При уточненном же техническом подходе, опять таки не выходя при восприятии звукового языка за пределы голого механизма, мы в качестве орудия речевого производства могли бы ожидать 'гортань', 'горло', как наиболее существенную часть полости рта в произнесении звуков, особенно древнейших — заднеязычных спирантов и аспирированных, присущих языкам архаичных систем, в числе их языкам йефетической системы: спирантов  $h, h$ , аспирированных или длительных —  $k \rightarrow \check{k} \rightarrow \check{q}$ , или взрывных  $k, g, q$ , простых  $k, g, h$ , не говоря о более архаичных диффузных, т. е. лабиализованных  $k_c, \check{g}_c, k_c, \check{q}_c, q_c, k_c, g_c$  и т. н. нотирированных  $k, \check{g}, \check{q}, k, g, q$  и т. д. Вполне понятно, что наречение языка не могло состояться в первобытном обществе с таким уточненно-исследовательским технологическим его восприятием. Вообще появление наименования такой надстроечной категории, как язык-речь, это дело одной из позднейших ступеней стадильного развития звуковой речи. Но и тогда, насколько внимание устремлялось на общее восприятие орудия речевого производства, таковым не мог не явиться 'рот', 'уста', как вместилище всей сложной системы произносительных органов, или язык, как наиболее активный их представитель, подвижной, как рука, и причастный к производству всех звуков, чем древнее, тем активнее (достаточно сослаться на такие фонемы йефетических языков архаичной системы стадильного развития т. н. горских языков, как  $h, \check{q}$  и т. п.

Но в нашем современном восприятии звуковой речи не можем не учесть факта, что это не кинетический или ручной язык, чтобы физическая часть тела сама по себе, подобно руке, сошла за орудие речевого производства: в звуковом языке орудием речевого производства скорее намечается надстроечный материал, воспринимаемый слухом, и как ни углубляться в архаичность, какие бы нам ни удалось установить диффузные звуки, вплоть до известных четырех элементов в их первичном произношении без членораздельности трех составляющих еще издревле их фонем, приходится считаться именно с этим звуковым достижением, захватывающим в одно целое и ухо, орудие слушания с приспособленным слухом. Кстати, попутно укажу, что у грузин специального названия для 'уха' в древне-литературном феодальном языке вовсе не было: его называли словом *sa-smen-el*, буквально означающим 'орудие для слушания', как, впрочем, то же самое наблюдаем в арм. др.-л., также феодальном языке, — *læsel+1-q*; что же касается народного языка грузин, языка более архаичной системы, в нем существует особое, специальное название 'уха', это *kur*, но оно оказалось по функциональной

семантике переносом названия 'глаза', как прежнего орудия восприятия речи, тогда кинетической или линейной, ручной, на новое его смешившее орудие восприятия речи, уже звуковой. В значении 'глаза' это *kuḡ* у грузин сохранилось в народном слове *kuḡđqal* 'слеза', буквально означающем 'вода (*đqal*) глаза (*kuḡ* вм. *kuḡ*)'. И любопытно, что опять таки то же самое мы наблюдаем у армян в их народной речи: напр. *a + kan-d* 'ухо' ничто иное, как разновидность армянского (др.-л.) *akəp*, означающего 'глаз'.

Возвращаемся к надстроечному звуковому материалу, намечающемуся в орудие речевого производства.

Этот звуковой материал и есть то средство, орудие; будет, однако, правильное сказать: не простое природой созданное орудие, а вещество, организующее общественно оформленное орудие не только звукового языка, но вообще речевой культуры, зависевшей в своем росте и развитии от роста производства и социальной структуры, без чего не было бы не только выделения отдельных самостоятельных фонем из четырех лингвистических элементов, но и развития самих этих музыкально-песенных и производственно-социально значимых элементов в лингвистически значимые элементы, развитие которых в удовлетворение общественной потребности в речи шло также по ступеням стадийного развития, сначала трудягически необходимой, затем культовой- и героическо-эпической, и лишь впоследствии бытовой разговорной, каковой длительный процесс развития воздействовал в свою очередь на приспособление органов произношения, через развитие трансформаций лингвистических элементов и выделявшихся из них звуков.

Учет творческого напора идеологии общественности, скроенной по производству, на развитие фонем, представляет с точки зрения нового учения об языке, яфетической теории, очередную задачу, совершенно реально вставшую перед нами, как и то, что идеология в свою очередь, отражая производство и социальную структуру через мировоззрение, сама воздействовала на лингвистические элементы и впоследствии выделившиеся из них самостоятельные звуки через процесс мышления и лишь потом на обработку органов произношения. И как ни сложен по совокупности этот извилистый путь, весь процесс развития стимулировался, как творческим моментом, все теми же факторами, производством и социальным строем, их потребностями. Тем более понятна должна быть формовка самих слов, первоначально четырех элементов и их разновидностей, по производственно-социальным группировкам.

Если, как было сказано, у языка менялась функция, с нею менялась у него обслуживаемая среда, растекаясь в ширь по населенному пространству, менялся объем охвата речью нарекаемых предметов, менялось орудие производства речевой культуры, менялась техника его

обработки, да тем более коренным образом она менялась, чем сложнее становилось это орудие с надстроечным звуковым оформлением, менялось мышление, то, естественно, четыре лингвистических элемента ни количественно, ни качественно не могли миновать тех же закономерных неизбежных коренных смен, характеризующих различные ступени стадияльного развития, которые в свою очередь, несмотря на отмеченную уже нами сложность процесса, в конечном счете зависели от соответственного роста производства и социальной структуры.

Подъем этой материальной базы и послужил переломным этапом для революционного сдвига языка с прежних средств своего развития, когда он был кинетическим, на путь новых средств и возможностей, когда язык стал звуковым. Когда? Вот вопрос, который было бы несправедливо ставить нам, как лингвисту, хотя он же нас приводит непосредственно к актуальной теме о 'письме'. Мне не нужно тратить время на перечень специалистов, коллективу которых можно было бы резонно поставить этот вопрос. Лингвист мог бы лишь сигнализировать намечающееся по языковедным данным решение. В пределах моих сил сегодня готов поделиться ими тем более, что иначе нам ни пройти, ни перескочить, допустим, узкого места, на твердь правильной установки учения о звуковом языке. Когда же язык стал звуковым? Однако, каким звуковым: разговорным или эпическим? Ведь обычно предполагается так, что люди говорили, разумеется, на архаичном языке, когда возник эпос. Это недоразумение, поскольку речь идет о возникновении первоначатков эпических сказаний, первых их оформлений, а не окончательно сложившейся структуры и их переработок на различных уже позднейших национальных языках. Когда появился гомеровский эпос, то, разумеется, существовал греческий и разговорный язык, но его не одни корни уходят в до-эллинический мир, как и имя Гомера: *γόμεγ* ведь не греческое слово, оно унаследовано греками от первоначального населения страны, из которого они, эллины, выработались со своим новым языком и со своим эпосом, на языке того первоначального населения с языком яфетической системы *γόμεγ* вовсе и не простое частное личное имя кого-бы то ни было. Палеонтология речи нам теперь дает прочное основание утверждать, что, минуя разнообразные использования его в смысле нарицательных имен, когда речь о поэте столь древнего еще до-индоевропейского по зачаткам эпоса, *γόμεγ* это 'маг-сказитель', воплощающий в себе тотемное божество определенного уже т. н. народа, первично тотем вошедшей в его состав производственно-социальной группы, носившей то же название, оно же впоследствии название героя.

И когда вопрос с позднейшей по ступени стадияльного развития разговорной звуковой речи переходит на эпический язык, то ответ

опять не может быть единым в зависимости от того, какое эпическое сказание имеется в виду, героическое или культовое, т. е. то-ли когда звуковой речи для разговорного обихода все еще не было, или еще более ранних эпох, когда звуковой язык сводился к речевой культуре, представляющей собою лишь оракулы и иные магические изречения, геср. песнопения в честь тотемов или уже богов, в зависимости от того, о какой ступени развития форм социальной структуры позволяют нам говорить производство того времени своими формами, своим материалом и своей техникой. В языке этих оракулов и магических песнопений никак не можем мы искать ни увязок, будь это союзы или местоимения, ни разумеется, глаголов. Это были еще комплексные подборы звуковых символов линейных образов кинетической речи с представлениями нового мировоззрения, которое не находило возможности уместить себя в рамках ручного языка. Палеонтологический анализ дошедших до нас языков архаичных систем, в том числе языков полистадиальной яфетической системы, дает возможность получить конкретное представление о таком действительно первобытном звуковом языке. И вот этот первичный и по узкому объему и, разумеется, по первобытной структуре язык может найти дату своего происхождения на той ступени стадийного развития человечества, в том пласте культурных наслоений диахронического разреза, к которому относятся или могут быть отнесены предметы с изобразительными мотивами, поскольку в них, этих изобразительных мотивах, можно распознать магически значимые геометрические, геср. растительные или фигурные рисунки-символы, зачатки первобытной письменности. Палеонтологические изыскания на основании языковедных данных нам дали опору для работы над такой проблемой, как то можно видеть по появившейся в печати еще в 1927 г. статье «Происхождение терминов 'книга' и 'письмо' в освещении яфетической теории»<sup>1</sup>. В наших утверждениях мы оказались поддержанными неожиданно для себя положениями других специалистов, работавших на ином материале и, конечно, иным методом, как, напр., этнолога Леви-Брюля и кельтолога Loth'a. Не на одной странице той нашей работы языковедные факты побуждали нас повторять один и тот же ряд эволюционирующих значений — 'тотем', позднее — 'бог', всегда 'знамение', 'образ', 'знак', — они же в терминах, имеющих значения 'письма', 'рисунка' и 'узора' ('вышивки', впоследствии и просто 'шитья'), одинаково на языках различнейших систем: аморфо-синтетической — китайском, полистадиально-яфетической, чувашской, угро-финской, семитической, прометеидской (т. н. индоевропейской) и т. д. В тот же круг понятий одного и того же происхождения с 'письмом' тогда же вошли не только 'книга', 'буква', но и 'печать — перстень', самое русское слово «печать»

<sup>1</sup> Книга о книге, I, стр. 43—82.

как вклад одного из яфетических языков Кавказа. Разъяснилось и то, почему название 'книги' оказалось общим у русских с кавказскими армянами и месопотамскими семитами-ассирийцами, у последних двух с значением лишь 'печати-перстня', как то наблюдалось раньше соответственными специалистами, терявшимися перед фактами, не зная иного пути общего их происхождения как заимствование. Разъяснилось тогда же и то, как «книга», как слово для выражения 'книги', у грузин оказалось общим с латвиянами-римлянами, у последних в значении 'знака', 'письма', что раньше и не было вовсе наблюдалось, как и то, что грузинское 'писать' со сродным армянским словом того же значения, имеющим распространение по всему угро-финскому северу или восточной Европе, равно в пережиточных языках до индо-европейской архаичной системы Индии, все с тем же значением 'письма' или 'книги', застряло в скрещенном латинском слове со значением 'буквы', а у греков оно же обозначает в развитии все еще тотема — 'чудище', 'чудо' и т. д., и т. д. В настоящее время мы располагаем уточнением и углублением тех же результатов, и, тем не менее, мы можем повторить без единой фактической поправки такие положения из этих результатов, как-то, с одной стороны, что «человечество своим творчеством все видоизменяет, видоизменяет свою общественность и мировоззрение в связи с видоизменением матерьяльной культуры, видоизменяет в корне, естественно, и значения слов», с другой стороны то, что «как подтверждает палеонтология речи, все эти термины [письменности] носят [в конечном счете] племенное название, [первично] название бога — 'тотем', 'магия'<sup>1</sup>, и все «эти 'знаки', и эти 'образы', и эти 'тотемы', все 'знаменья' не осознававшихся в реальном существе сил и явлений природы [коллективный] человек, звуковую речь построивший в развитие линейной, и в звуках не мог выразить иначе, как в эпохи линейной речи, когда прибегал еще к 'руке', что и выразилось на выборе звукового символа, на способе выражения словом, означавшем 'руку'. Это техника, но отнюдь не существо и назначение, следовательно, не значение предмета и обозначающего его слова. Значение, как выяснилось, определяется функцией».<sup>2</sup>

Вслед затем постепенно разъяснилось палеонтологиею речи, что если не раньше, то во всяком случае ко времени возникновения звуковой речи существовало уже космическое мировоззрение, астральное, и 'рука' получила гражданственность в словаре по увязанности всего тела человека, сначала коллективного человека, производственно-социальной группировки, да уже затем воспринявшего ее в себя племенного образования, его тотема, с космическим миром, человек воспринял себя микрокосмом, по подобию племенного образования, частью которого он

<sup>1</sup> Ц. м., стр. 79.

<sup>2</sup> Ц. м., стр. 79.

являлся, и, как племенное образование, первично производственно-социальная группировка называлась на этой ступени стадияльного развития тотемом, обозначавшим 'небо', resp. 'дети неба' или 'светила', 'солнца', 'луна' или 'звезды'. На этой ступени общественность была не родовая по крови, а все еще производственно сложенная с космическим уже тотемом — солнцем. Ведь само слово «род» значило 'солнце', «рождение» — 'появление солнца'. В то же время 'рука' в палеолите воспринималась не технически, а по соучастию в труд-магии. В языках же 'рука' сигнализировалась еще в звуковой речи словом 'солнце'. 'Руки' получили соответственное наречение позднее с дифференциацией: 'правая рука' — название 'солнца', 'левая рука' — название ночного светила, 'месяца', хтонического божества, а встреча 'руки' и магии в первичном названии 'письма-книги' получает свое оправдание не только в технике по наследию названия от кинетической или линейной речи, ручной речи, но и по приобщению руки к магической функции согласно требованиям соответственного мировоззрения, и вот потребности от нарощего неумещающегося в средства ручного языка накопления идей, обязанных своим происхождением развитию материальной культуры, самого производства и его техники, а с нею неразрывно и социальной структуры, вызвали к жизни диалектический процесс выделения из единой в начале кинетической или линейной речи, ручной речи, двух языков, из коих один — звуковой язык, другой — письменный, т. е. письмо, первично магическое письмо. Таким образом, язык и письмо на этой ступени стадияльного развития, конечно, не близнецы или двойшки, а все таки брат с сестрой, дети, порожденные потребностями жизни, переросшей кинетическую или ручную речь и способные далее сложиться лишь в борьбе с нею.

Взял верх и прошел с триумфом трудовую стезю всех ступеней стадияльного развития своей базы производства с материальной культурой и социального строя, да техники того и другого, тот язык, который оказался в обладании орудием более гибким и творчески могучим. Орудие это, звуковой символ, было более гибким и изменчивым для адекватного отражения всех конструктивных частей созидавшейся человеческим коллективом общественности и ее мировоззрения не только в их статической стадияльности, но и в их динамическом движении. Это орудие, не дар природы, а искусственный продукт трудамагического действия, превосходило натуральное орудие кинетической речи, руку, как надстроечный фактор воздействия в области техники и в области идеологии, — воздействия не только на внутренний мир, физиологические части всего сложного аппарата речи, помимо звуков — производственного, но и на внешний мир — материальный, а с ним и социальный. В этом смысле звуковая речь бесспорно является фактором в истории

материальной культуры. То же орудие, звуковой сигнал, вскоре уже символ, было совершенно свободно технически от производственных норм изжитой кинетической речи. Не фонема, а общественно значимый лингвистический элемент, обладатель, казалось бы, магической силы, этот звуковой символ, ныне разъяснен уже как исключительное орудие воздействия и увязки внешнего мира, как и внутреннего с мыслительным аппаратом человека и устами авторитетнейшего в мире физиолога: «Слово для человека есть такой же реальный условный раздражитель, как и все остальные, общие у него с животными, но вместе с тем и такой многообъемлющий, как никакие другие, не идущие в этом отношении ни в какое количественное и качественное сравнение с условными раздражителями животных. Слово... связано со всеми внешними и внутренними раздражениями, приходящими в большие полушария, все их сигнализирует и все их заменяет»<sup>1</sup>.

И это дало все преимущества звуковому символу, как орудью языка, для его творческого триумфа перед графическим символом речи, обреченной на продолжение или эволюционное развитие линейных образов ручного языка, ибо, не раз приходилось повторять, разрушать труднее, чем создавать, и в творчестве побеждает тот, кто радикальнее и действительно разрушает старые нормы и поддерживаемые ими навыки житья-обычья для обеспечения функций новых факторов.

Пересадкой четырех звуковых комплексов из трудмагического действия в языкотворческий процесс с функцией четырех лингвистических элементов, звуковая речь встала на путь разрыва и действительно порвала и со средой их возникновения, поскольку четыре лингвистических элемента не просто стали обрастать новыми значениями в дополнение тому общему, что имели они в трудмагическом действе, но получили новый источник семантического оплодотворения в независимом от прежних норм изменчивом языковом построении с опорой на также изменчивые производственно-социальные факторы, тогда как письмо давало лишь графическую стабильность линейным образам и представлениям ручной или кинетической речи. Этим определялась дальнейшая судьба графического языка и взаимоотношения его и звуковой речи. Как речь, графика быстро изжила себя вслед за сродной ручной или кинетической также линейной речью, обратившись в простую орнаментацию и, так как нас в данной постановке не касается сохраненное идеологическое значение уже в составе искусств, именно художества и живописи, то пока перед нами лишь проблема исследования или исследования семантики графического языка, с одной стороны значимости отдельных его сигнальных или символических знаков, как то волнистой линии в смысле 'воды', скорее космической, чем воды-стихии,

<sup>1</sup> Лекции о работе больших полушарий головного мозга. 1927, стр. 357.

'круга' в смысле 'неба', следовательно и 'солнца' или магической силы, гесп. ее воплощения в коллективе производственно-социальной группировки, тотема, впоследствии т. н. племенного названия, с другой стороны — изобразительного выявления уже значимых не только труд-магически, но и космически определенных частей тела, особенно 'рук'. На этой ступени развития письмен, как независимых от звуковой речи линейных сигналов или символов языка, может трактоваться и вопрос о тамге, входящей уже в историю письма. Тамга сигнализирует не только принадлежность данному коллективу, но и посвященность его первоначально тотему. Здесь же подлежит трактовке графика, как идео-графическое письмо.

Не забыть, однако, еще факта: основное орудие кинетической речи «рука» вошла прямо таки в древнейшие типы письма. Особенно вызывает теперь наше внимание хеттское мешанное идеографическо-фонетическое, фигурно-линейное письмо, где в числе идеографических фигур в значении различных божеств особенно часто появляется рука в различных видах. Естественно возникает вопрос о связи значения этих различных видов руки употреблением соответственно различных фигур в кинетической или ручной речи.

Утратив возможность развиваться как речь, как смена ручного языка, графика стала на службу восторжествовавшему звуковому языку стабилизацией звуковых символов, а с этого момента графика лишь, как письмо, прошла все этапы коренных перестроек звуковой речи и, объединившись с нею, теперь не только разделяет уже в печатном виде ее триумф, но содействует усилению массовости этого триумфа печатью, книгой, публицистикой и журнально-газетным производством. Пока отнюдь не теряет смысла утверждение, что печать, следовательно письмо, в неразрывном объединении со звуковой речью есть какая бы по счету ни была независимая великая держава, но всетаки великая творческая сила, именно как актуальнейший язык общности.

Однако, для нашей темы актуально-интересна увязка революционных сдвигов в развитии письма с такими же сдвигами в развитии звуковой речи по ступеням стадийного развития, что в свою очередь ныне, как уже разъяснено, имеет свои корни в соответственных революционных сдвигах в производстве и социальном строе. Мы сейчас остановимся лишь на одной линии, линии эволюционного или вернее революционного развития четырех лингвистических элементов.

Звуковая речь начинается не только не со звуков, но и не со слов, а с определенного идеологического построения, это с перевесенного с производства в речь строя или т. н. синтаксиса.

В синтаксисе, при том сначала при системе аморфной или синтетической речи лингвистические элементы получают ту или иную син-

таксическую функцию, и ею определяется смысл лингвистического элемента не только как части предложения, но и как части речи, равно и лексического его назначения. В ту эпоху звуковой комплекс не имеет еще определенного, ему присущего значения, с ним складывается в построении и линейный символ ручной речи. Письменности той ступени стадийного развития у нас нет.

Но когда при той же синтетической или аморфной системе звуковые комплексы получают постоянное значение хотя бы в порядке полисемантизма, т. е. те же звуковые комплексы становятся символами или сигналами и в этом смысле уже определенными в смысле значимости лингвистическими элементами, то лишь тогда возникает письменность, и первое письмо так наз. слоговое, открытое или закрытое, это из начертаний, воспроизводящих изобразительно наши четыре лингвистических элемента в их наличных тогда социально-фонетических разновидностях. На деле это не слоговое письмо, а элементное, из целых слов. Сюда относится, между прочим, вне всякого сомнения, и клинопись.

При системе агглютинативной письмо получает эволюционное развитие, на нем сейчас не останавливаемся. Укажем лишь на факт подмены в клинописи подлинных идеограмм линейно-символическими идеограммами и детерминативами.

При системе все еще аморфной в смысле надбавочной флексии, во внутреннем оформлении использовавшем для своей реализации социально-значимые огласовки, как то мы наблюдаем теперь лишь в языках семитической системы и в части языков яфетической системы, т. е. в тех языках, в которых ныне и с исторически известных эпох согласные воспринимаются как корни, а гласные как их оформление, письмо становится syllabicким, подлинно syllabicким, при этом в одних письменах слоги — единицы письма — явные, писаны полностью, в других слоги — единицы письма — скрытые, именно пишутся лишь согласные, а гласные опускаются в письме, но подразумеваются и читаются, это в письменах семитических, в значительной их части.

Наконец, по утрате представления о лингвистических элементах с возобладанием языков флективной системы, по выдвигании значимости отдельных звуков и возобладании индивидуального их осмысления как глоттогонических единиц возникает фонетический алфавит, вернее сначала буквари и алфавиты, ныне научно отделяемые в фонетические системы письма.

Вот мы как будто закончили наш доклад. Можно все свести к нескольким основным положениям нового учения об языке, яфетической теории. Я лишь намечу три пункта:

1. Монистическая непрерывность зарождения речи, датируемого возникновением человеческой общественности, и ее развития в диалекти-

ческих путях в зависимости от истории производства и производственных отношений с последовательностью смены линейного языка, как ручного или кинетического, так графического с неподвижными символами, звуковым языком, и соответственная последовательность в смене систем письма.

II. Влияние звукового языка на физиологические изменения звукопроизносительных органов и через исключительно мощный условный раздражитель, слово, также на потребное человечеству по степени его развития оформление аппарата мышления, в связи с чем речь, особенно же звуковая речь, является существенным фактором в истории материальной культуры.

III. Методологический вывод: необходимость в виду марксистской сущности яфетической теории с одной стороны, ориентации исторических дисциплин, в первую голову археологии, этнологии и истории литературы по учету фактических ее положений и сигнализуемых освещений генетических проблем, с другой стороны углубление яфетической теории не только более четким усвоением диалектического и исторического материализма, но и привлечением в орбиту своей работы философии и психологии в новой постановке.

Что же противопоставляется яфетической теории по вопросу о происхождении языка в ней решаемом материалистически?

Если исключить материалистические опыты, не основанные на самостоятельной проработке языкового материала и увязывающие механически звуковой язык непосредственно с языком животных, ей противопоставляется базированный на скрытом идеализме, если не мистицизме, отвод даже от вопроса о происхождении, как будто ненаучного, это в индоевропеистике, или открытая идеалистическая фантазия с признанием языка, от начала звукового, созданием духа, сидящего с неисповедимых эпох в человеке, это в палеоэтнологической лингвистике.

Но разве этими отвлеченными достижениями кончается значение нового учения об языке, яфетической теории? А увязка с живой общечеловеческой, в наши дни с новым социалистическим хозяйственным и культурным строительством? Остановлюсь на одной практической стороне.

Раз положение о неразрывной связи проблемы о письме с интересами речи, какой бы технически она ни была конструкции, линейной или звуковой, находит опять таки свое еще и историческое, мы бы могли смело сказать — даже т. н. «до-историческое» оправдание, социально-органически вытекающее из истории развития производства и его техники и т. д., то всякий уклон от этой генеральной линии есть не только просто отвлеченная академическая неправильность, случайная неувязка, а угроза, безразлично намеренна она или ненамеренна, подрыва нашего современ-

ного социалистического строительства, и чтобы не вдаваться далее в отнюдь не доставляющие удовольствия организационные выводы и в то же время не подавать повода праздным догадкам о скороспелой по моменту новизне нашего утверждения<sup>1</sup>, я сошлюсь на ту же мысль в основе, как она была сформулирована мною год тому назад, когда в секции литературы, искусства и языка Коммунистической Академии на открытии подсекции материалистической лингвистики, трактуя в больших линиях «Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории», еще тогда мы говорили<sup>2</sup>:

«В круге одних языковедных фактов и явлений мы достигли по экстенсии крайних пределов. Учение об языке ставится уже в мировом масштабе. От такой постановки языковедения не уйти никому, ни одному специалисту по звуковой речи, как бы одинок или малозначителен ни был изучаемый им язык и с каким бы ограниченным кругозором исканий ни отбирался он, как предмет специального интереса, хотя бы лишь для статического<sup>3</sup> исследования.

«В связи с установлением уже этого одного языковедного положения к нам подошла проблема технического порядка, насущно необходимая и требующая безотлагательного решения в интересах упорядочения или усовершенствования средств исследовательской работы, — это проблема единого письма для всех видов языкового материала. Но ведь это в то же время актуальная общественная проблема при идущей гигантскими шагами интернационализации культуры и ее материальной базы, мирового хозяйства и мирового социального строительства. Эта актуальная проблема — очередная задача и в разрезе потребностей СССР, конкретно в национальном разрезе. Разве наше новое советское социалистическое строительство может мириться с кустарным по автономиям составлением письма без учета теоретических достижений и практических перспектив нового учения об языке, строящегося в мировом масштабе?».

Но вопрос о практической потребности в письме, где предполагается, впрочем, где лишь обновленном, возникающей в условиях социалистического хозяйственно-культурного строительства, особая статья. Пока нам достаточно хорошенько зарубить на видном и памятном месте,

<sup>1</sup> Нас не столько смущает, что зарубежный писатель Sköld в немецком памфлете на мой «маразм» удосужился признать, да еще с моих слов (!!!), яфетическую теорию волчьим воем, вызванным окружающей меня живой общественностью, сколько то, что ученые из ближайшего моего окружения доселе проявляют в «критике» яфетидологии абсолютное незнание того, что они критикуют, приправленное замечаниями, обнаруживающими отсутствие элементарного представления об истории материальной культуры, или непонимание того, какое место отводится писателям, хотя бы Геродоту, в глоттогоническом процессе мирового значения.

<sup>2</sup> Изд. Комм. Академии, стр. 10—11.

<sup>3</sup> В цит. изд. по опечатке «статистического».

что судьбы письма органически связаны с судьбами языка, язык же, если он не мертв, органически же увязан с общественностью, как ее создание, создание ее производства, ее структуры и достигнутых ею технических успехов, с нею и соответственной высоты мышления, и если эта общественность действительно совершила сдвиг, если переживаемая нами революция не сон, то не может быть речи ни о какой паллиативной реформе ни языка, ни грамматики, ни следовательно, письма или орфографии. Не реформа, а коренная перестройка, а сдвиг всего этого надстроечного мира на новые рельсы, на новую ступень стадияльного развития человеческой речи, на путь революционного творчества и созидания нового языка. Упомянутая нами в начале доклада московская выставка новых письменностей национальностей СССР воочию показала материально, в какой степени с сознанием или скорее стихийно в нашем обширном Союзе происходит этот сдвиг, отраженный в письме, предупреждая и опережая осознанную плановую работу широких научных кругов, едва находя среди ученых двух, трех лиц для четкого и уверенного руководства такой в высшей степени показательной выставкой с полноценным сознанием грандиозного глоттогонического или языко-творческого процесса, которое разворачивается с октябрьской революции в Союзе Советских Социалистических Республик со всеми теми признаками развития, которые вскрыты новым учением об языке, яфетической теории. В числе этих признаков один из основных не индивидуальное, не даже групповое «языкотворчество» силами оторванных от современной жизни научных кругов, а массовое.

Если даже в буржуазных странах все более и более раздаются голоса о творческой роли масс до степени признания, как, например Гюстав де Бон'а в его «Психологии масс», когда он пишет: «массы всегда играли в истории важную роль, однако никогда не играли они такую значительную роль, как ныне», то каково же должно быть значение этих масс у нас при учете сил, с которыми приходится считаться и на которые можно рассчитывать в подлинной революционной реформе письма и языка.

И закончим пожеланием не науки в массы, как ни запоздали, но сейчас этого мало, а массы в науку на актуальную работу по ней. Товарищи, в этом единении науки с творящим и претворяющим мир трудом — единственный путь прогресса, но в нем же ключ спасения всех положительных национальных и общечеловеческих культурных достижений, более того — путь развертывания победоносной мощи и самой науки.